

ЯРОСЛАВ ШИМОВ

Пир побежденных

Современная демократия как путь к катастрофе

«Есть вещи поважнее, чем мир».

*Приписывается Александру Хейгу,
госсекретарю США в первой
администрации Р. Рейгана*

Европейский Конвент, занимающийся подготовкой реформы Евросоюза, а по сути дела — поиском «лица» объединенной Европы, обсуждает положения будущей европейской Конституции. Непростое дело — ведь речь идет об идентичности новой Европы, а именно в этом вопросе до какой-либо ясности пока весьма далеко. В наличии есть лишь декларативные заявления руководителей ЕС да ставшие общим местом лозунги — демократия, права человека, гражданские и экономические свободы... Кроется ли за ними еще хоть какое-то содержание сегодня, когда мир, похоже, начинает жить по законам, очень далеким от классических либеральных представлений? К чему пришла современная западная, в первую очередь европейская, демократия и каковы ее дальнейшие перспективы? И есть ли они вообще — у демократии и у той цивилизации, которую по привычке называют христианской и которая опоясывает северную часть земного шара от Калифорнии до Камчатки?

Хрупкий баланс демократии

Начнем с аксиомы: индивидуализм, частная собственность и демократическая модель политического устройства¹ являются неотъемлемыми признаками западной (евроамериканской) цивилизации. Последнее не означает, что история этой цивилизации не знала эпох, когда указанные принципы не соблю-

¹ Под демократической здесь и далее подразумевается такая форма правления, при которой, во-первых, высшим носителем политического суверенитета, т. е. обладателем права принятия политических решений, являются все или большинство политически активных членов данного общества («политического народа»), осуществляющие вышеуказанное право непосредственно или через своих представителей; во-вторых, власть большинства реализуется в рамках законодательных ограничений, утверждаемых этим большинством или его полномочными представителями и не подлежащих произвольному изменению вплоть до момента, когда они будут изменены опять-таки волей большинства или его представителей.

дались или отрицались. Это значит лишь, что индивидуализм, частная собственность и демократия как феномены характерны лишь для западного мира и не были известны незападным обществам² до тех пор, пока евроамериканская цивилизация не стала доминировать в мире, оказывая все возрастающее давление на своих соседей, в той или иной форме навязывая им собственные экономические, политические и государственно-правовые модели³. Но и на самом Западе демократия не оставалась статичной, пройдя в своем развитии ряд стадий. Необходимо подчеркнуть, однако, что любой демократии присущи два базовых элемента. Во-первых, это *репрезентативный характер*, свойственный как прямой демократии, где каждый гражданин представляет самого себя, так и демократии представительской, где интересы граждан выражают избранные ими уполномоченные — парламентарии или члены иных выборных органов. Во-вторых, это *общие ценности*, на которых основывается демократическое общество и которые не позволяют демократии превратиться в анархию, гоббсовскую «войну всех против всех». При этом ценности являются общими именно постольку, поскольку они отражают представления практически всех членов общества; это то, что объединяет его представителей, подчеркивая тем самым репрезентативный характер демократии.

Несомненно, определенная система ценностей существует в любом социуме. В недемократических обществах она поддерживается прежде всего силой традиции, воплощенной в устойчивых иерархических структурах. Возможность смены системы ценностей возникает в случае, если в силу тех или иных обстоятельств в недрах общества появляется достаточно мощная индивидуальная или коллективная воля, которая идет наперекор установившимся традициям и создает тем самым качественно новую политическую ситуацию. В недемократических обществах подобная ситуация ведет либо к подавлению реформистских или революционных настроений иерархическими структурами и восстановлению нарушенной традиции, либо, наоборот, к победе «новаторов», слому прежней иерархии и созданию новой традиции со своей системой ценностей. Недемократические общества тяжело реформируются; видимо, именно поэтому все великие империи рушились, уступая место новым формам общественного и государственного устройства, а не медленно «перетекали» в эти новые формы. В условиях же демократии, помимо двух перечисленных решений (первое из них можно назвать контрреволюционным, второе — революционным; с этой точки зрения Цезарь и Наполеон, несомненно, были революционерами), существует и третье — *компромисс*. Он выражается в частичном удовлетворении требований «новаторов» за счет определенных

² В качестве пояснения, касающегося принципа частной собственности (точнее, его отсутствия) в традиционных восточных обществах, можно привести характеристику, данную этим обществам Марксом: «Государство здесь — верховный собственник земли. Суверенитет здесь — земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе... В этом случае не существует никакой частной собственности, хотя существует как частное, так и общинное владение землей» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 2. С. 354).

³ Тем более странным кажется быстрое распространение и необычайная популярность в либеральных кругах современного Запада примитивистски наивной теории «конца истории» Ф. Фукуямы, фактически провозгласившего современную демократию высшей и универсальной формой общественного устройства, к которой рано или поздно придут все цивилизации, существующие на планете Земля.

уступок со стороны «консерваторов». Необходимость компромисса вытекает из упомянутого выше репрезентативного характера демократии, который предполагает, что должны учитываться интересы всех групп, представленных в данном обществе. Отсюда — ставшее хрестоматийным представление о демократии как политическом строе, для которого характерны определенные механизмы, «имеющие своей целью гарантировать меньшинству условия для осуществления определенных индивидуальных или коллективных прав, таких, например, как свобода слова, вероисповедания и т. д.»⁴.

Однако далеко не всякой демократии свойственно стремление к компромиссам. Степень ее «компромиссности» зависит главным образом от соотношения между двумя элементами демократической системы, о которых упоминалось выше, — репрезентативностью и общими ценностями, точнее, их идеологическими модификациями. Демократия сохраняет стабильность и идет по пути политических компромиссов до тех пор, пока первая преобладает над вторыми. Иными словами, пока стремление к тому, чтобы все имеющиеся в обществе мнения могли быть выражены и все интересы представлены, превалирует над стремлением осуществить ту или иную политическую программу, распространив ее на все общество, — то есть удовлетворить интересы *части* (пусть даже эта часть — большинство), выдав их за интересы *целого*. Как только вторая тенденция начинает ощутимо брать верх над первой, демократия вступает в полосу кризиса. Фаза стабильности характеризуется формированием устойчивых политических группировок (например, тори и виги в Англии), их чередованием у власти, интригами, маневрами и скандалами, не перерастающими, однако, в открытый конфликт, который грозил бы уничтожением всей политической системе. Фаза кризиса — это нарастающее политическое напряжение, радикализация требований «новаторов» при растущей неуступчивости «консерваторов», отказ от компромиссов и начало борьбы на уничтожение противника — политическое, а нередко и физическое, — что может привести к демонтажу демократического строя и его замене автократией.

Ранние демократии⁵, существовавшие в Европе до эпохи так называемых буржуазных революций, т. е. до конца XVIII — первой половины XIX вв., как правило, соблюдали хрупкий баланс между репрезентативностью и политико-идеологическими программами, выдаваемыми за общие ценности. Это

⁴ Гаджиев К. С. Политическая наука. М. 1995. С. 176.

⁵ К числу таких демократий, помимо античных, можно отнести, например, большинство итальянских и германских городских республик XIII — XVIII вв., нидерландские Соединенные Провинции и даже выборные монархии (по выражению одного польского историка, «шляхетские республики, увенчанные короной») вроде Речи Посполитой и Венгрии в XVI — XVIII столетиях. Все эти режимы обладали формальными признаками демократии — с учетом того, что понятие «политический народ» в ту эпоху было значительно более узким, чем понятие «народ» как население данного государства. Сложнее обстоит дело с сословно-представительскими монархиями, существовавшими практически по всей Европе. Эти режимы представляли собой сочетание раннедемократических элементов, олицетворяемых органами сословного представительства (английский парламент, испанские кортесы, земельные собрания — ландтаги — в Германии, Австрии и Чехии, сеймы в Польше и Венгрии, земские соборы на Руси и т. д.), и недемократической традиции, воплощенной в особах наследственных монархов, правящих «милостью Божьей».

происходило, как ни странно, во многом из-за узости социальной базы ранних демократий. Будучи сословными по характеру, они опирались на представителей высших и отчасти средних слоев общества, которые и составляли «политический народ». Низшие слои — большая часть крестьянства, городская беднота, инородцы и иноверцы, прежде всего евреи, и т. д. — были отстранены от принятия политических решений, лишены гражданских прав и как правило вовсе не считались «народом» в политическом и государственно-правовом смысле слова. Социальные низы еще не обладали сформировавшимся политическим сознанием, поэтому с их стороны ранним демократиям до поры до времени угрожали разве что плохо организованные крестьянские восстания да бунты городского плебса, с которыми обычно удавалось относительно быстро справиться.

Правящей элите в эпоху ранних демократий, конечно, не всегда удавалось избегать расколов и конфликтов, многие из которых длились не одно десятилетие. Однако их результатом обычно становилась не смена политического строя, а соглашение между противоборствующими группировками. (Вот несколько примеров таких соглашений: Люблинская уния 1569 года, соединившая два раннедемократических государства — Польское королевство и Великое княжество Литовское — в единую Речь Посполитую; Нантский эдикт Генриха IV, способствовавший примирению французских католиков и гугенотов; Вестфальский мир 1648 года, завершивший Тридцатилетнюю войну — грандиозное столкновение группировок европейской сословной элиты). К тому же гораздо чаще, чем между собой, сословия боролись с общим противником — королевской властью с ее авторитарно-централистскими поползновениями⁶. Исход этой борьбы был неоднозначен. Если в Англии в результате двух революций — 1640–1660 и 1688 гг. — демократическим (в тогдашнем смысле слова) силам удалось взять верх над монархическим авторитаризмом, а в Польше и Венгрии укрепилась шляхетская вольница, то в большинстве стран континентальной Европы победа в XVI — XVII вв. осталась за абсолютизмом. Однако элементы ранней демократии не исчезли и здесь: можно вспомнить французские городские и региональные парламенты, не раз вступавшие в правовые споры с королем, ландтаги германских земель, то и дело отказывавшие императору в войсках и дополнительных денежных отчислениях, испанские кортесы, сопротивлявшиеся абсолютистским реформам Филиппа II... Неудивительно, что и Великая французская революция началась с созыва давным-давно не собиравшегося сословно-представительского института — Генеральных штатов.

⁶ Хорошим примером может служить история начала Тридцатилетней войны в Европе, поводом для которой явился конфликт между сословиями Чехии (точнее, королевства Богемия) и императорской властью Габсбургов. Хотя формально конфликт носил религиозную окраску, т. к. среди богемского дворянства и мещанства преобладали протестанты, а императорский двор служил оплотом католицизма, в действительности причины столкновения были социально-политическими и заключались в стремлении сословно-представительских институтов Богемии, входившей в состав конгломерата габсбургских земель, к большей автономии от центральной власти. Об этом свидетельствует и тот факт, что по крайней мере на первом этапе борьбы (1618–1620) среди ведущих представителей мятежных богемских сословий было немало католиков, выступавших бок о бок с протестантами.

Эволюция демократии

Конец XVIII столетия, когда «третье сословие» вышло на арену политической борьбы, стал началом истории нового типа демократии — *массовой*, которая отличалась от своей предшественницы столь же сильно, как Франция Дантона и Робеспьера от Франции Бурбонов. Появление многомиллионных масс в качестве важнейшего фактора политической борьбы изменило и институциональную форму, и философско-психологическое содержание демократии. В контексте эволюции демократии как социального феномена, анализом которой мы занимаемся, наиболее существенным представляется появление того, что британский политолог и социальный философ Ноэл О'Салливан назвал «активистским политическим стилем» (*activist political style*). Это «политический стиль, который... не принимал во внимание принцип легальности», стиль, в рамках которого «государство и общество должны были слиться в одно всепоглощающее движение», причем в наиболее радикальных вариантах «активизма» «принципиально не допускалось какого-либо конституционного ограничения власти»⁷, руководимой идеей социального обновления. Первыми образец такой власти и такой демократии создали якобинцы.

Чтобы лучше понять суть этого явления, необходимо вернуться к затронутому ранее вопросу о соотношении двух базовых элементов демократии — репрезентативности и общих ценностей. Как мы уже выяснили, в условиях ранней демократии первое преобладает над вторым, т. е. сохранение баланса интересов различных групп «политического народа» представляется более важной задачей, нежели подчинение этих интересов единой общей цели или идее⁸. Политическая элита при ранней демократии, как правило, формируется в результате компромиссных соглашений, играющих столь значительную роль в этой модели государственно-политического устройства (см. выше). Общие ценности при этом носят как бы рамочный характер, основываясь чаще всего на религиозной, исторической и государственно-правовой традиции, языковом и культурном единстве данного общества⁹.

При массовой демократии дела обстоят совершенно иначе. Она противопоставляет традициям новации (очень часто в радикальной, революционной форме), интересам — идеалы, репрезентативности и политическим компромиссам — идеологию как форму воплощения новых общих ценностей.

⁷ N. O'Sullivan. *Fascism*. London. 1983. P. 44.

⁸ Исключения из этого правила, конечно, встречались (например, республика, созданная в чешском городе Табор радикальными гуситами, или кальвинистская Женева), но они были весьма редки.

⁹ В качестве примера можно привести фрагмент одной из деклараций Сабора (сословно-представительского собрания) Хорватского королевства, которая была принята в середине XVIII века и объясняла статус страны и условия ее унии с Венгрией: «По закону мы являемся землей, связанной с Венгрией, но ни в коем случае не подчиненной ей. В свое время у нас были собственные, невенгерские короли... Мы по своей воле стали подданными, но не Венгерского королевства, а венгерского короля. Мы свободны, мы — не рабы никому». (Цит. по: B. Jelavich. *History of the Balkans*. Cambridge. 1983. Vol. 1. P. 142). Таким образом, именно закон и традиция определяли характер и смысл существования хорватского общества и государства на том историческом этапе.

С философской точки зрения это объясняется появившимся еще в эпоху Просвещения в европейском обществе «наивным оптимизмом, который является наиболее примечательной чертой современной западной культурной и политической жизни... Человек перестал верить в то, что зло — неотъемлемая часть человеческого бытия, как учила христианская доктрина о первородном грехе, и начал верить в то, что зло возникает в структуре общества. Таким образом, зло может быть устранено путем изменения общественного устройства»¹⁰. Отсюда — непоколебимая решимость апостолов массовой демократии изменить общество в соответствии с собственными представлениями о благе и справедливости. Отсюда — необходимость устранить всех, кто мешает установлению нового порядка, поскольку не разделяет ценностей, которые массовая демократия предлагает (точнее, навязывает) в качестве общих. Отсюда — та необычайная легкость, с которой французские якобинцы, а сто с лишним лет спустя — русские большевики, итальянские фашисты и немецкие нацисты перешли от лозунгов свободы и справедливости к государственному террору и невиданному ранее подавлению индивидуальной свободы.

Массовая демократия в ее наиболее радикальных проявлениях, каковыми являются тоталитарные режимы, фактически вывернула раннюю демократию наизнанку. Если раньше «политическим народом» признавались лишь привилегированные слои общества, а подавляющее его большинство было лишено гражданских прав, то теперь этих прав лишались бывшие привилегированные слои (при якобинцах и большевиках), политические противники нового режима (при фашистах) или представители «низших» рас и народов (при нацистах). Разница заключалась «всего лишь» в том, что в эпоху ранней демократии политическое сознание бесправного большинства долгое время находилось на крайне низком уровне, что в какой-то мере объясняет сам феномен столь распространенного бесправия; массовая же демократия исключала из состава «политического народа» социальные группы, обладавшие весьма развитым политическим сознанием.

Никаких компромиссов — полное торжество идеологии, т. е. той или иной версии общих ценностей, в ущерб репрезентативности. Такова формула тоталитаризма, который является «законным сыном» массовой демократии — точнее, ее наиболее радикальной (и, возможно, наиболее последовательной) формой. Послевоенная либеральная мысль долго не могла смириться с тем фактом, что «просвещенная» Европа оказалась способной породить такое чудовище, как третий рейх. Отсюда — многочисленные интеллектуальные уловки, призванные показать чуждость тоталитаризма европейской политической традиции, свести его суть к козням опасных маньяков, каковыми представлялись либералам Гитлер и Муссолини, или ко временному массовому помешательству целых народов. Но многие мыслители, пусть с осторожностью и оговорками, как Эрнест Геллнер, признали несомненное: «Конкретное соединение составивших эту идеологию (нацизм — *Я. III.*) элементов... не может, конечно, считаться итогом европейской традиции, но вместе с тем не выходит и за ее пределы. Натурализм этой идеологии делает ее продолжением идей Просвещения, ее коммунализм, культ местных особен-

¹⁰ O'Sullivan. Ibid. P. 13–14.

ностей говорит о ее прямой связи с романтизмом, возникшим как реакция на Просвещение»¹¹.

Впрочем, в первые сто лет после краткого якобинского эксперимента массовая демократия более не находила столь же радикального воплощения, довольствуясь умеренным вариантом — классической *либеральной демократией* с ее конституционными ограничениями, межпартийной борьбой и относительно высоким уровнем репрезентативности. В XIX — начале XX вв. с формальной точки зрения этот уровень непрерывно возрастал — по мере того, как европейские страны полностью или частично отказывались от имущественного избирательного ценза, системы выборов по куриям, остатков сословного представительства и т. д. Либеральная демократия действительно предоставила гражданам немалую индивидуальную свободу, однако пространство этой свободы становилось все более узким. С одной стороны, это происходило в силу отчетливо классового характера, который приобрела либеральная демократия — и в этом отношении марксистская критика данного строя была вполне справедливой. Если в эпоху ранней демократии и абсолютизма положение человека в социальной иерархии определялось в первую очередь его сословным происхождением, то в либерально-демократический период решающую роль стало играть его имущественное, экономическое положение; поэтому, говоря о репрезентативности либерально-демократического строя, не следует забывать, что эта репрезентативность была весьма относительной. С другой стороны, усиливалась идеологизация демократии — по мере того, как по Европе распространялась эпидемия агрессивного национализма. Наконец, в большинстве европейских государств (за исключением Великобритании, Франции после 1870 г. и ряда стран Северной Европы) демократия была ограничена институтами традиционной монархии.

Период с 1917 до середины 30-х гг. стал временем крушения либерально-демократических режимов по всей континентальной Европе. Либеральная демократия или переродилась в тоталитарные диктатуры (Германия, Италия, Россия), или была заменена консервативно-традиционалистскими режимами (Венгрия, Испания, Португалия, Румыния, Югославия и др.). И тоталитаризм, и консервативный авторитаризм означали победу идеологии как насильственно навязанной версии общих ценностей над репрезентативным характером демократии. В обоих случаях переход от относительной свободы к почти абсолютной несвободе совершался при поддержке и активном содействии миллионов недовольных прежним строем. Как заметил о Первой мировой Бенито Муссолини, «война масс закончилась победой масс»¹².

Посттоталитарная демократия

Из всех ведущих держав первой половины XX века крушения либеральной демократии удалось избежать только Великобритании и США. Это объясняется скорее всего тем, что переход от ранней демократии, традиция которой восходит в Англии к Великой хартии вольностей 1214 г., к демократии массовой там

¹¹ Геллнер Э. Пришествие национализма // «Путь». 1992. № 1. С. 36.

¹² Цит. по: H. W. Schneider. Making of the Fascist State. New York. 1928. P. 352.

произошел реформистским, эволюционным путем, что привело к сохранению высокого уровня репрезентативности. Что касается США, то они по сути дела «импортировали» британскую демократическую традицию в ее радикализованной пуританской версии. Тем не менее и в англосаксонских странах в середине XX века было заметно усиление авторитарных тенденций, особенно в годы Второй мировой войны. После этой войны демократия уже не могла оставаться прежней, и демократические режимы, восстановленные в западной части континентальной Европы при содействии англосаксонских победителей, не стали простой реставрацией либеральной демократии былых времен. Начался переход к новому типу демократии, который можно назвать *посттоталитарным*¹³.

Этому способствовали и новые социально-экономические тенденции, результатом которых стало полное изменение структуры западного общества по сравнению с первой половиной XX века. Юрген Хабермас так описывает этот процесс: «Социальная политика ликвидирует крайние диспропорции и проявления незащищенности, не затрагивая, однако, неравенства собственности, дохода и власти... Неравное распределение социальных благ теперь отражает структуру привилегий, которые нельзя больше объяснять исключительно классовым положением... Роль работающего по найму теряет свои болезненно пролетарские черты благодаря непрерывному повышению уровня жизни, хотя и дифференцированного по социальным слоям... Массовая демократия, присущая государству с развитой системой социальной защиты, является устройством, которое смягчает классовый антагонизм, по-прежнему содержащийся в недрах хозяйственной системы. Но это возможно лишь при условии, что капиталистическая динамика экономического развития, защищенная политикой государственного вмешательства, не ослабевает»¹⁴. Однако капиталистическая экономика, которой присуще чередование подъемов и кризисов, не в состоянии гарантировать такую динамику. Но это далеко не единственная проблема посттоталитарного демократического общества. Примерно на рубеже 60-х – 70-х гг. XX столетия в развитии западной цивилизации произошел *надлом*, последствия которого человечество только начинает осознавать сегодня. Он был вызван совокупным действием ряда факторов.

Во-первых, мировой нефтяной кризис начала 70-х дал толчок частичному перераспределению материальных благ в мире, заложив основы процветания ряда стран Ближнего Востока и значительно облегчив экономическое положение уже стагнирующего Советского Союза. Во-вторых, окончательный крах колониальных империй в 60-е гг. привел, с одной стороны, к дальнейшему расширению сферы геополитического влияния советского блока, а с другой – к появлению обширных зон нестабильности, за контроль над которыми Запад вынужден был бороться с СССР. В-третьих, бурный технологический прогресс вызвал ускорение экономических процессов и положил начало глобализации

¹³ Особенности эволюции демократии в XX в., на мой взгляд, недостаточно учитываются сторонниками одной из наиболее известных западных политологических концепций последних лет – теории «трех волн демократизации». Подробнее см., напр.: S. P. Huntington. *The Third Wave. Democratization in the Late 20th century*. Norman, Ok. 1993.

¹⁴ Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Теория и история экономических и социальных институтов и систем (THESIS). 1993. № 2. Т. 1. С. 128–131.

мирового хозяйства. Она привела, с одной стороны, к увеличению хозяйственного и технологического отрыва западного мира от остальных цивилизаций, а с другой — к усилению миграционных потоков, в первую очередь к резкому росту числа эмигрантов из стран «третьего мира» в Западную Европу и Северную Америку. В-четвертых, неспособность правящих элит западных стран дать адекватный ответ на вызовы новой эпохи привела к массовому распространению левых коллективистских убеждений, подпитываемых до поры до времени иллюзорными представлениями многих западных интеллектуалов об успехе социалистических экспериментов в СССР и маоистском Китае. Полевение западного общества, длившееся вплоть до начала-середины 80-х гг., сопровождалось в Западной Европе дальнейшей фактической дехристианизацией¹⁵, которая началась еще в эпоху Просвещения и продолжилась при либеральных демократиях конца XIX — начала XX вв.

Все эти процессы ослабили западную цивилизацию. Ведь, несмотря на внешнее сохранение и даже усиление своего экономического и военно-политического доминирования в мире, Запад в то же время стал более уязвимым, открытым сообществом, подверженным влияниям своих соседей по планете в куда большей степени, чем раньше. Глобализация привела к постепенному, пусть пока и частичному, размыванию культурных и цивилизационных основ западного общества, признаком чего стало появление доктрины мультикультурализма, официально «благословляющей» процесс превращения евроамериканского пространства в мозаику народов и культур самого разного происхождения. Можно сказать, что последние 30 лет для Запада — время постепенного перехода от глобального наступления, которое эта цивилизация вела в течение пяти столетий, ко все более пассивной обороне.

Казалось бы, события последнего времени (распад советского блока, превращение США в единственную сверхдержаву, демократизация в Восточной Европе и бывшем СССР, успешные военные операции западных стран в Персидском заливе, Югославии, Афганистане, ускорение темпов европейской интеграции, расширение НАТО, дальнейший рост экономического и политического влияния ведущих транснациональных корпораций, победное шествие западной, прежде всего американской, масс-культуры по странам и континентам и т. д.) свидетельствуют об обратном. Однако по меньшей мере три фактора, сила которых пока не проявилась в полной мере, делают могущество евроамериканской цивилизации иллюзорным. Первый из них — международный терроризм, показавший, что враждебные Западу сообщества в состоянии нанести ему существенный урон, невзирая на колоссальное военно-техническое и экономическое превосходство западных стран. Второй — демографический кризис¹⁶, быстро превращающий евроамериканский мир в вымирающую

¹⁵ Имеется в виду, конечно, упадок традиционного христианства — без различия конфессий — как духовной силы, оказывающей реальное влияние на общественное сознание и тем самым творящей историю. Что касается политического и финансового влияния отдельных церквей, в первую очередь римско-католической, то оно в описываемую эпоху не только не снизилось, но и парадоксальным образом заметно возросло. Подробнее см., напр.: Гергей Е. История папства. М. 1996. С. 392–454.

¹⁶ По прогнозам ООН, в 2050 г. в Европе будет проживать чуть более 600 млн. чел. (в настоящее время — 725 млн.). Население Северной Америки хотя и вырастет с 320 до 438 млн., общее

цивилизацию. Наконец, третий фактор – особенности современной посттоталитарной демократии, которые делают ее ахиллесовой пятой Запада¹⁷.

Нынешняя массовая демократия отличается от той, что существовала 70–100 лет назад в Западной Европе и США (и какой-то, пусть очень короткий промежуток времени также в России), прежде всего самой структурой масс. «Активистская», пользуясь терминологией Н. О’Салливана, масса сменилась массой *рассеянной*. Общество рассыпается, атомизируется, четкая социальная структура, характерная еще для 50-х – 60-х гг. прошлого века, расплывается, сменяясь мозаикой, контуры элементов которой, в свою очередь, изменчивы и нечетки. Региональные, этнокультурные, демографические различия между отдельными группами общества зачастую становятся более заметными и существенными, нежели различия социальные. Размываются критерии идентичности того или иного социального слоя. (В этом смысле очень показательна дискуссия о «среднем классе», которая активно велась в России в середине 90-х, поутихла после кризиса 1998 г. и с новой силой возобновилась сейчас). Одновременно растет отчуждение индивида от общества, происходит фактический распад многих социальных структур. Известный журналист Виталий Третьяков заметил в ходе дискуссии о массовом обществе в современной России: «Общая идея, общая система ценностей, общие духовные нормы – всего этого в России нет. Вместо этого мы имеем предельно атомизированное, фрагментарное и массовое социальное образование»¹⁸. Наблюдение верное – с той поправкой, что относится оно не только к России, но и к абсолютному большинству стран Европы и (в несколько меньшей степени) к США¹⁹.

Нечеткость политической структуры современного западного общества соответствует размытости его социальной структуры. Особенно ярко отразились эти изменения на роли политических партий, издавна являющихся важной деталью механизма демократии. На смену партиям либерально-демо-

соотношение жителей развитых и развивающихся стран будет еще более неутешительным, чем сегодня: соответственно 1196 и 5015 млн. чел. в 2002 г., 1181 и 8141 млн. в 2050 г. К тому же около половины популяции в Европе, Канаде и США к середине XXI века будут составлять люди в возрасте старше 60 лет. (Данные приводятся по сообщению агентства Рейтер за 3.12.2002).

¹⁷ Говоря о Западе после 1991 г., автор имеет в виду всю евроамериканскую цивилизацию, в том числе Россию и большую часть постсоветского пространства, – за исключением, пожалуй, республик Средней Азии, относящихся к иному цивилизационному ареалу. При всей неоднородности этой цивилизации (которую, наверное, правильнее называть уже не Западом, а Севером, учитывая ее положение на карте мира), все составляющие ее народы, государства и регионы связаны общим культурно-цивилизационным фундаментом, ведущим свое происхождение от античного мира и сменившей его христианской цивилизации. Применительно к России такой подход представляется мне куда более обоснованным, нежели вновь вошедшее в моду в последние годы евразийство. (При этом включение России и государств СНГ в рамки евроамериканской цивилизации, конечно, не означает отрицания глубокого исторического, культурного и социально-психологического своеобразия этих стран).

¹⁸ См.: «Массовое общество» как «круглый квадрат» // «Русский журнал», 3.07.2002.

¹⁹ О растущем взаимном отчуждении американцев свидетельствуют данные социологов Р. Патнэма и Т. Уильямсона: если в середине 70-х гг. житель США принимал участие в среднем в 12 общественных акциях в год, то в 1999 г. – всего лишь в 5. В 1975 г. 7 % американцев участвовали в работе той или иной общественной организации, 25 лет спустя – только 3 %. Посещаемость богослужений в США снизилась по сравнению с серединой 70-х примерно на 12 %, а в гости друг к другу американцы теперь ходят на целых 45 % реже, чем четверть века назад. (Подробнее см.: Шимов Я. Политика и обыватели // «Русский журнал», 22.11.2000).

кратической эпохи, представлявшим интересы конкретных социальных слоев и групп, и партиям тоталитарного типа, мобилизовавшим массы и подчинявшим их своим вождям, пришли довольно аморфные группировки, для которых западные политологи придумали точное название *catch-all parties* («партии, охотящиеся на всех»). Это объединения прагматиков, которые ориентируются не на какие-то определенные слои общества, а на общество в целом, и отказываются от четкой идеологической окраски — формально, впрочем, продолжая рядиться в одежды «правых» и «левых». В действительности же они все чаще отличаются друг от друга разве что методами проведения PR-кампаний²⁰. «Респектабельная» западная политика стремительно деидеологизируется. Соперничество между демократами и республиканцами в США, лейбористами и консерваторами в Великобритании, социалистами и голлистами во Франции, социал-демократами и христианскими демократами в Германии — это уже не противостояние мировоззрений, как несколько десятилетий назад, а всего лишь дискуссии по частным вопросам, пусть порой и довольно существенным — о процентной ставке подоходного налога, иммиграционной политике, участии в американской операции в Ираке и т. д.

Изменился и сам психологический тип политического деятеля. Вместо политиков-кондотьеров эпохи ранней демократии, политиков-бойцов времен демократии либеральной (можно вспомнить Бисмарка и Гамбетту, Клемансо и Черчилля), политиков-вождей периода тоталитаризма сегодня мы имеем дело с политиками-товарами, главная задача которых — удачно продать себя рассеянным массам эпохи постмодерна, которые «приобретают» на выборах президентов, премьер-министров и депутатов примерно так же, как в супермаркетах они покупают попкорн, пиво и памперсы для младенцев. Имидж становится решающим фактором в карьере отдельных политиков, партий и группировок. А те политические силы, которые не отказываются от идеологической определенности, выталкиваются истеблишментом, к которому в наше время принадлежат и влиятельные СМИ, на обочину политической жизни. Их преподносят общественному мнению как маргиналов, не заслуживающих доверия и даже угрожающих национальным интересам и/или существованию демократии (Национальный фронт и компартия во Франции, Партия свободы в Австрии, Партия реформ Росса Перо в начале 90-х гг. в США и т. д.)²¹

²⁰ В современной России эту тенденцию отражают многочисленные «партии власти», создаваемые как в 90-е гг., так и в настоящее время — «Наш дом — Россия», «Отечество», «Единство», нынешняя «Единая Россия». Их характерные черты — идеологическая безликость, почему-то характеризующаяся как «центризм», и стремление найти поддержку у самых широких слоев населения. Российской спецификой, отличающей отечественные «партии власти» от зарубежных *catch-all parties*, является их политическая зависимость от структур исполнительной власти (на Западе можно говорить скорее о связях ведущих политических сил с крупным бизнесом) и широкое использование в предвыборной борьбе «административного ресурса».

²¹ Россия — не исключение и в этом отношении. Если КПРФ начиная со второй половины 90-х гг. понемногу превращается в «системную» оппозицию, т. е. составную часть истеблишмента, то другие коммунистические и националистические организации выталкиваются за пределы «респектабельной» политики. На противоположном фланге политического спектра нечто подобное происходит с «Яблоком», «Либеральной Россией» и другими организациями, не вписывающимися в концепцию искусственного создания двух-трехпартийной системы, практически открыто провозглашенную Кремлем.

Преобразование одной из отраслей рекламного бизнеса — так называемых «политических технологий» — в важную составляющую политической жизни свидетельствует о том, что политика окончательно становится видом предпринимательства. Этому способствует и тесное сращивание политического истеблишмента с деловой средой: в России — в виде уродливого «олигархического» капитализма, в США и Западной Европе — в более благопристойной, завуалированной форме лоббирования политических интересов военно-промышленного комплекса, нефтяного бизнеса, сферы высоких технологий и т. п. на самых высоких этажах государственной власти. Возникает *картель*²² — система тесных клиентелистских связей, лоббизма и взаимной поддержки, выгодная как «капитанам бизнеса», так и политической элите, и высшим эшелонам бюрократии. Недавние скандалы вокруг корпорации «Энрон» и других крупных компаний в Америке — пример сбоев в работе картельного механизма, которые позволяют общественности хотя бы краем глаза заглянуть за кулисы современной демократии.

При этом ни одна из групп интересов, участвующих в политической борьбе в странах западного мира, уже не стремится ко всей полноте власти в обществе. Сложность и вместе с тем неопределенность сложившейся социальной структуры ведет к тому, что эффективный контроль за ней, осуществляемый из одного центра, становится практически невозможен. Поэтому компромисс, как когда-то во времена ранней демократии, необходим правящей элите. Для его достижения важно отсутствие в обществе очагов напряженности, представляющих серьезную угрозу элите, следовательно — формальный учет интересов как можно большего числа элементов социальной мозаики (при том, что, как и в любом обществе, удовлетворены будут в первую очередь интересы элиты). Эта задача облегчается благодаря определенной универсализации жизненных стандартов в современном консьюмеристском обществе, хотя данный процесс пока не зашел так далеко, как об этом пишут многие левые публицисты из «антиглобалистского» лагеря.

Итак, в условиях посттоталитарной демократии репрезентативность вновь берет верх над общими ценностями — причем этот ее «реванш» приобретает устрашающие масштабы в силу невиданной ранее культурной разнородности западного общества. Современная демократия, отказываясь от традиционных идеологий, мешающих достижению компромисса, берет на вооружение доктрину мультикультурализма — эту эрзац-идеологию нынешней эпохи.

Перспективы демократии

Смещение наций и культур стало одной из основных характеристик современного мира. Однако восприятие этого феномена как неизбежного следст-

²² Термин «картель» введен западными политологами, исследовавшими в середине 90-х гг. феномен все более тесного сращивания политических партий с государственными и бизнес-структурами в условиях современной демократии: «... Образуется картель партий, в котором партии конкурируют между собой, но лишь в рамках пространства, ограниченного их общими интересами... Все меньшим становится влияние отдельного избирателя, гражданина, на итоговую политику правительства» (P. Mair, R. Katz. The Emergence of the Cartel Party // Party Politics. 1995. Vol. 1. #1. Pp. 5–28).

вия глобализации и верно, и обманчиво. Верно — потому, что интенсификация хозяйственного и информационного обмена между разными регионами мира и вызванная этими явлениями унификация стандартов производства и потребления приводят к определенному сближению разных цивилизаций, которые начинают в каком-то смысле разговаривать на одном языке. Обманчиво — сразу по нескольким причинам. Во-первых, глобализация не тождественна межкультурному диалогу, а наоборот, является монологом, т. к. ее основой служат западные изобретения и технологии, западная экономическая модель, западные материальные и культурные стандарты. Во-вторых, в большинстве незападных обществ глобализация затронула лишь незначительную часть населения, большинство же сохраняет верность традиционной культуре. В-третьих, даже там, где глобализация вроде бы «шагнула в массы» и где материальные стандарты приблизились к западным (например, в наиболее развитых странах Дальнего Востока — так называемых «азиатских тиграх»), традиционный культурный фундамент остался фактически нетронутым. Иными словами, арабские или южнокорейские ребята могут с удовольствием лакомиться гамбургерами или играть в футбол, но от этого они не перестанут быть арабами или южнокорейцами, а многие из них при этом не избавятся от внушенного с детства глубокого недоверия к Западу и ненависти к США²³.

Таким образом, глобализация — в значительно большей степени особенность развития западной цивилизации в последние полтора-два десятилетия, нежели действительно мировое явление. Более того: западный мир куда сильнее «глобализировался», т. е. подвергся влиянию иных культур, нежели остальные цивилизации. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать в любом крупном западном городе, который превратился в колоссальное мультикультурное сообщество. Сам по себе этот факт нельзя оценить позитивно или негативно. Тревогу вызывает лишь то, что в условиях смешения культур проблема сохранения идентичности евроамериканской цивилизации очень далека от удовлетворительного решения. Вероятно, при современной посттоталитарной демократии она и не может быть решена. Ориентация правящей элиты современного Запада на компромисс, т. е. репрезентативность в ущерб общим ценностям, ведет к тому, что социальная структура начинает распадаться на отдельные фрагменты, каждому из которых позволено развиваться по своим законам. Как справедливо заметил один современный автор, «мультикультурализм... блокирует демократический плюрализм, подменяя гражданское общество совокупностью автономных и конкурирующих друг с другом «культурных сообществ»²⁴.

Вот только один пример: по данным газеты «Берлинер цайтунг», не менее 35 % школьников из семей турок-иммигрантов, живущих в Берлине, очень слабо знакомы с немецким языком или вовсе не знают его. Эти дети растут в чисто турецкой языковой и культурной среде, ходят в турецкие (нередко исламские) школы и, находясь в Германии, подпадая под действие ее законов, располагая видом на постоянное жительство, а то и гражданством ФРГ, факти-

²³ Наиболее здравомыслящие западные интеллектуалы вполне отдают себе в этом отчет. См., напр.: S. P. Huntington. The Lonely Superpower // Foreign Affairs. March — April 1999. Vol. 78. #2. Pp. 35–49.

²⁴ Малахов В. Культурный плюрализм versus мультикультурализм // Скромное обаяние расизма и другие статьи. М. 2001. С. 166.

чески живут в Турции, будучи абсолютно чуждыми стране проживания. Неудивительно, что традиции, привычки, правовая культура иммигрантов, обитающих в таких «инокультурных анклавах», которые распространились по всему западному миру, то и дело вступают в противоречие с традициями, привычками, правовой культурой коренного населения. В США ситуация смягчается наличием политического, государственно-правового и духовного фундамента американского общества, заложенного когда-то «отцами-основателями» — хотя и этот фундамент уже подвергся сильной эрозии. В Европе же проблема взаимодействия разных культур не может быть решена до тех пор, пока посттоталитарная демократия считает необходимым поддерживать автономность инокультурных элементов под предлогом защиты прав и свобод меньшинств.

Такая «защита» представляется сторонникам мультикультурализма естественным способом обеспечения репрезентативности демократии и тем самым — достижения всеобщего компромисса. В действительности же благодаря почти полному отказу от общих ценностей ускоряется распад структур общества, обостряется социальная напряженность (нищета и преступность в иммигрантских кварталах, межнациональные конфликты и проч.), растет популярность экстремистских сил, предлагающих упрощенные методы решения проблемы — за счет возврата к ксенофобским идеологиям тоталитарного типа. Вместо желанного компромисса современная демократия, основанная на принципе мультикультурализма и защиты прав человека, перерастающей в защиту вседозволенности²⁵, ведет к обратному результату — росту конфликтности в обществе, которое быстро утрачивает свою идентичность и превращается в конгломерат нестабильных человеческих сообществ, связанных между собой в лучшем случае товарно-денежными отношениями, цепочками производства и потребления.

Самое занятное, что при этом большая часть западного истеблишмента, как либерального, так и консервативного (впрочем, разница между ними в условиях современной демократии, как уже говорилось, быстро стирается), свято верит в «прогрессивный» и универсальный характер современных социально-политических практик евроамериканской цивилизации. Я намеренно пишу о *социально-политических практиках*, избегая слова «ценности», поскольку ни мультикультурализм, ни права человека в их нынешней западной версии подлинными духовными и социальными ценностями не являются — хотя бы в силу крайней непоследовательности в применении и трактовке этих понятий. Любым ценностям как составной части того или иного целостного мировоззрения чужд релятивизм, в то время как псевдоценности современной демократии мимикрируют в зависимости от конкретной политической ситуации. Так, сторонники мультикультурализма, защиты этнического, культурного, религиозного разнообразия и прав меньшинств в Европе и Северной Америке в то же время с удовольствием рассуждают о пользе демократизации незападных обществ²⁶ и универсальном характере демокра-

²⁵ Свежий пример — недавнее решение парламента Швеции, который не только уравнял в юридическом отношении гомосексуальное партнерство и традиционный брак (подобные законы действуют уже в целом ряде европейских стран), но и предоставил гомосексуальным парам право усыновлять детей, т. е., по сути дела, право на своеобразное «воспроизводство».

²⁶ Так, в номере «Нью-Йорк таймс» от 27 ноября 2002 г. можно прочесть следующие рассуждения М. Мак-Фола, доцента политологии Стэнфордского университета, о перспективах демократи-

тии и прав человека (опять-таки в их западном толковании). Таким образом, целым цивилизациям, в частности, исламскому миру, отказывают в праве на самоорганизацию, т. е. жизнь в соответствии с собственными законами и традициями — том самом праве, на защиту которого становятся те же самые люди, как только речь заходит об инокультурных анклавах на Западе! Подобным образом обстоят дела и с правами человека. «Права человека, свободы и человеческая справедливость... должны быть правами глобальными или же они — вообще не права», — утверждает либеральная американская публицистка²⁷. Однако отношение западного политического истеблишмента и большей части общественности к любому из крупных конфликтов последнего времени, будь то Косово, Чечня или Ирак, является вопиющей демонстрацией двойных стандартов. К примеру, права 600 тысяч албанцев, изгоняемых из Косово югославской армией, защищаются всей мощью НАТО, а права 200 тысяч сербов, впоследствии изгнанных из того же Косово победоносными албанцами, не ставятся ни в грош. Понятно, что в такой ситуации права человека являются не высшей ценностью, а всего лишь политическим инструментом.

Что же касается подлинных ценностей, то их западной цивилизации катастрофически не хватает. После крушения тоталитарных режимов с их всеподавляющим идеологическим контролем маятник демократии, вечно колеблющийся между репрезентативностью и общими ценностями, качнулся в сторону первой — и, похоже, улетел слишком далеко. Увлечшись погоней за репрезентативностью, компромиссами и социальным миром, Запад оказался на грани утраты собственной идентичности. Фактически единство западной цивилизации до сих пор сохраняется лишь благодаря, во-первых, сложной системе отношений производства и потребления, созданной современным капитализмом, и во-вторых, могуществу бюрократии, которая играет роль основного связующего звена между «картельной» элитой и аморфным атомизированным большинством общества. В последние годы все ярче проявляется тревожная тенденция к централизации бюрократического аппарата — в США (создание колоссального Department for Homeland Security²⁸), Западной Европе (непрерывное расширение полномочий Европейской комиссии и других институтов ЕС и в России (административное укрепление «вертикали власти»). Таким образом, атомизация общества и распад социальных структур «уравновешивается» ростом бюрократического централизма и постепенным перерастанием посттоталитарной демократии в деидеологизированную технократическую диктатуру, которая, стань она реальностью, означала бы конец всякой, даже плохонькой демократии.

зации Ближнего Востока: «Всем известно ныне уже ставшее классическим утверждение о том, что НАТО принесло мир измученному войнами континенту (Европе — Я. Ш.), позвав туда американцев, подавив немцев и изгнав русских. Подобный альянс на Ближнем Востоке, возможно, также приведет в этот регион американцев, подавит диктаторские режимы и покончит с террористами». Пример простоты, которая действительно хуже воровства.

²⁷ Бак-Морс С. Глобальная публичная сфера? // «Синий диван» (журнал заметок и размышлений). 2002. № 1. С. 38.

²⁸ Министерство национальной безопасности, образовано в 2002 г. распоряжением президента США Дж. Буша-младшего с целью усиления эффективности борьбы с терроризмом и иными факторами, угрожающими стабильности страны. Выполняет функции более чем 30 прежних государственных служб, агентств и ведомств. Руководитель — бывший губернатор штата Пенсильвания Т. Ридж.

Есть ли реальная альтернатива такому развитию событий? Трудно сказать, тем более что составление рецептов всеобщего счастья — занятие не столько наивное, сколько опасное. Стоит отметить лишь, что у западного мира есть в наличии многое необходимое для появления такой альтернативы: та часть его исторического и культурного наследия, которая связана с христианской моралью, правовым сознанием и уникальным сочетанием индивидуализма и солидарности, не раз проявлявшимся в кризисных ситуациях. Среди практических мер, которые могли бы влить свежую кровь в жилы Запада, можно назвать:

- децентрализацию власти, способную сблизить политику и индивида — путем переноса политического центра тяжести с национального и даже наднационального на региональный и местный уровень;
- ликвидацию автономных инокультурных анклавов за счет продуманной и жесткой политики натурализации и ассимиляции иммигрантов;
- здоровый изоляционизм, т. е. замену ложного идеала всемирной демократизации и безраздельного духовного господства Запада задачами реальной политики, направленной на защиту интересов западных стран и евроамериканского мира в целом, борьбу с новыми глобальными угрозами, ликвидацию наиболее вопиющих социально-экономических, демографических, экологических и иных диспропорций в разных регионах мира и т. д.

Иными словами, речь идет не о глобальном торжестве «общечеловеческих ценностей» — голубой мечте западных либералов, и не о «крестовом походе» против всех несогласных с ролью Запада как мирового жандарма (к чему призывают радикальные консерваторы), а об *активной обороне* евроамериканской цивилизации. Такая оборона может быть успешной лишь в случае отказа западного общества от современной посттоталитарной демократии.

Есть и другие соображения — некоторыми из них делится футуролог Игорь Бестужев-Лада: «Для победы нужна колоссальная политическая воля, новый де Голль или Черчилль... Но этого мало. Должен радикально измениться наш образ жизни... Во-первых, культ труда — труд как самоцель, как молитва Богу. Во-вторых — культ семьи. Тогда восстановится и демографический баланс в мире»²⁹. Возможно, призывы к такому «неопуританству» прозвучат для кого-то наивно и даже ханжески, однако они вполне обоснованны с философской точки зрения. Дело в том, что вся история массовой демократии, начиная со времен французской революции, есть в определенном смысле история человеческого эгоцентризма. Человек как центр мироздания, человек, самостоятельно определяющий свою судьбу и меняющий облик общества с целью добиться идеала уже здесь, на земле, человек как мера всех вещей — вот единственное подлинное основание массовой демократии, при всем различии между ее типами. Именно здесь, вероятно, следует искать причины кризиса демократического строя и всей евроамериканской цивилизации. И именно в новом, менее эгоистическом, более реалистичном и, если угодно, смиренном взгляде западного человека на себя, Бога и мир кроется надежда на преодоление кризиса. Но даже если эта надежда напрасна, у мыслящего человека остается выход, подсказанный когда-то Антонио Грамши: «Пессимизм интеллекта, оптимизм воли».

²⁹ Сценарии будущего // «Итоги». 2002. № 48.